

ВЕЛИСЛАВА ЧЕРНОВА



КРОВЬ ЗАЛОЖНОГО

18+

Серия: Хроники Мёртвых Топей • Книга 7

Велислава Чернова

Кровь Заложного

«Автор»

2026

Чернова В.

Кровь Заложного / В. Чернова — «Автор», 2026

На западе, в глухом селе Гнилая Гать, дорожники срыли старый погост, где хоронили заложных покойников. Наутро в разрытой земле нашли первого мёртвого: обескровлен, на шее две ранки, под ногтями могильная глина. Следом гибнет скот, потом люди. Следователь Дмитрий Корнеев, ставший Хранителем Границы, приезжает с травницей Василисой, что носит под сердцем дитя. Он ищет живого убийцу: чёрных копателей, обиженных стройкой, сектантов. Но версии осыпаются одна за другой, а по ночам в село приходит гость, которого не берёт ни замок, ни молитва. Правда о том, кого зарыли здесь без креста полвека назад, страшнее любого упыря. И упырь чувствует три живые крови сразу.

© Чернова В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Пролог	7
Глава 1. Болото шепнуло имя	10
Глава 2. Дорога на запад	15
Глава 3. Первый мертвый	19
Глава 4. Село, которое молчит	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Кровь Заложного

Предисловие

Есть места, о которых старики говорят вполголоса и не показывают пальцем.

Не потому, что боятся сглазить. А потому, что показать пальцем — значит признать, что оно есть, что оно рядом, что мимо него ходят каждый день на колодец и в магазин, и всякий раз отводят глаза. Такое место было и в селе Гнилая Гать. Его называли по-разному, но чаще всего никак: кивали в сторону поймы, за реку, туда, где кончались огороды и начиналась низкая, вечно сырая земля, поросшая ольхой и осокой. Там, на болотистом мысу, вдававшемся в старицу, лежал погост. Не тот, что при церкви, с крестами и оградками, куда носят на Радоницу крашенные яйца. Другой. Заброшенный. Без имён.

Туда триста лет свозили тех, кого нельзя было хоронить со всеми. Утопленников, чью смерть не вымолить. Удушенных, наложивших на себя руки. Безымянных прохожих, найденных в лесу по весне. Проезжих, замёрзших в поле. Тех, кого казнили и не выдали родне. Заложных. Так их звали в этих краях — заложных покойников, тех, кого земля не приняла и не примет, кто не дожил своего срока и потому не лёг, а как бы прилёг, заложился, притаился под тонким слоем дёрна, готовый в любой недобрый час подняться и добрать своё у живых.

Их не отпевали. Их клали не на восток, а как придётся. Их закапывали неглубоко, наспех, придавливали камнем или колом, и уходили не оглядываясь. И раз в год, в семик, приходили всем миром, кланялись общей яме, поминали безымянных и просили: лежите тихо, не тревожьте, а мы вас не тревожим. Так держался уговор, старый, неписанный, забытый ныне всеми, кроме двух-трёх старух, которые сами уже стояли одной ногой в земле.

А потом пришла стройка.

Пришла с бумагами, с межеванием, с федеральной программой, с людьми в жёлтых касках, которым мыс на болоте был просто неудобьем на пути дамбы. Кости, что вывернул ковш, были для них строительным мусором — их сгребли в сторону и присыпали, чтобы не задерживать график. Никто не поклонился. Никто не спросил. Никто не назвал имён, потому что имён никто и не знал.

И уговор порвался.

Эта книга — о том, что бывает, когда живые берут больше, чем им положено, и будят то, что лучше бы спало. О старой вине, которую целое село полвека прятало в молчании, и о том, как молчание гниёт и просачивается в воду, в хлеб, в кровь. О двоих, что научились платить долги не чужой кровью, а своей, и приехали закрыть ещё один — самый холодный из всех, что им доставались. И о том, что земля помнит. Земля всегда помнит. Она терпелива, как погост, и однажды спрашивает по счёту.

Русский Север и Смоленщина, глухие болотистые края меж лесами и топями, хранят особую породу страха — не яркого, не кровавого, а тихого, вросшего в самую землю. Тут не пугают чудовищем из-за угла. Тут страшно иначе: страшно тем, что земля под ногами помнит больше, чем говорят люди, что в каждой старице лежит утопленник, о котором молчат, что в каждом селе есть свой мыс, свой омут, свой погост без имён, о котором знают все и не говорит никто. Этот страх не выветривается веками. Он оседает в укладе, в приметах, в том, как старуха, проходя мимо болота, крестится и отводит глаза. И когда приходит чужак с ковшом и бумагой и берёт то, что брать нельзя, — этот вековой страх просыпается вместе с тем, кого потревожили.

Заложный покойник — образ древний, дохристианский, уходящий корнями в те времена, когда славяне ещё делили мёртвых на чистых и нечистых, на предков-заступников и на опасных, недоживших, обиженных. Чистых поминали, кормили, звали на помощь. Нечистых

— боялись, задабривали, держали на расстоянии особыми обрядами. Заложный — из вторых. Он не зол по природе. Он несчастен. Его беда в том, что он умер не в свой срок и не по-людски, и оттого не может ни уйти совсем, ни остаться среди живых, — и висит между мирами, голодный, обиженный, помнящий. И чем несправедливее была его смерть, тем страшнее его посмертие. Самые лютые заложные выходят не из злодеев, а из невинно погубленных, из честных, которых предали те, кому они верили. В этом старая, жестокая правда народной веры: предай доброго — и получишь чудовище страшнее любого злодея.

Эта книга держится на той же правде, что и все прежние хроники: дух — не причина беды, а её симптом. За каждым восставшим мёртвым стоит живая, человеческая вина — чья-то жадность, чья-то трусость, чьё-то молчание. И лечится беда не колом и не огнём, а тем, что труднее всего даётся живым, — правдой, названной вслух. Признанием. Покаянием. Возвращением доброго имени тому, у кого его отняли. Поэтому расследование тут ведётся вдвойне: следователь распутывает вину живых, а травница укладывает потревоженного мёртвого, — и одно без другого не работает.

Тем, кто читал прежние хроники, здесь встретятся старые знакомые — следователь, что разучился смеяться над тёмными вещами, и травница с болота, чьи руки пахнут яблоками и полынью. Тем, кто пришёл впервые, довольно знать одно: не всякая могила — конец. Иные — только отсрочка.

А теперь войдём в Гнилую Гать. И постараемся не оглядываться на того, кто идёт за нами по мокрой земле, широко и неровно ступая босыми ногами.

Пролог

Ковш взял землю в третий раз, и в третий раз она не захотела отдаваться.

Экскаваторщик Пашка Долгих матерился про себя, потому что вслух здесь материться было незачем — никто не услышит, кроме ольхи да тумана, что с вечера полз с реки и к ночи затопил всю пойму по грудь. Свет фар вязнул в этом тумане, как в молоке. Прожектор на стреле выхватывал перед ним квадрат развороченного мыса: чёрная жирная глина, вывернутый дёрн, ржавые лужи в колеях от гусениц. Стоянов велел рыть до утра. График горел. Дамбу надо было поднять до осенних дождей, иначе пойму зальёт, и тогда весь сезон псу под хвост, а с ним и премия, и, чего доброго, место.

Поэтому Пашка сидел в кабине один, в ночь, посреди болота, и рыл там, где нормальные люди не то что рыть — ходить бы не стали.

Он знал, что это за место. Ему сказали в первый же день, когда пригнали технику. Сказал не бригадир — бригадир как раз помалкивал, — а местный мужик, что приходил наниматься сторожем и которого не взяли. Стоял у ограждения, смотрел, как размечают колышками мыс, и сказал негромко, ни к кому:

— Не там роете. Это скудельница. Тут заложных клали. Нельзя тут.

Пашка тогда засмеялся. Скудельница. Заложные. Слова-то какие, из старого кино. Он вырос в райцентре, при асфальте, и в эту деревенскую труху не верил ни на грош. Мёртвый есть мёртвый. Лежит и лежит. А мешает лежать — переложим в другое место, вот и весь разговор. Строителям не привыкать. Под каждой третьей дорогой в стране кто-нибудь да лежит.

Первые кости пошли на второй день.

Их было много — больше, чем он думал. Не отдельные скелеты в гробах, как на нормальном кладбище, а вперемешку, слоями, будто их сюда веками ссыпали как попало: длинные кости, рёбра дугой, черепа, коричневые от торфа, с провалами вместо глаз. Прораб пришёл, посмотрел, поморщился. Позвонил Стоянову. Стоянов приехал сам, злой, красный, в грязных берцах поверх дорогих джинсов, и сказал, как отрезал:

— Никаких костей нет. Есть строительный грунт. Сгребите в отвал, присыпьте, и чтоб к утру ровно было. Если хоть слово про кладбище уйдёт в район — премии лишу всех. Начнётся экспертиза, археологи, попы — встанем на полгода. Никто. Ничего. Не видел. Ясно?

Ясно было всем. Кости сгребли в дальний угол мыса, свалили в кучу вперемешку с глиной, и Пашка своим ковшом эту кучу присыпал сверху свежим грунтом. Присыпал наспех, потому что торопился, и одна кость — длинная, берцовая, тёмная — так и осталась торчать из отвала, как палец, указывающий в небо. Пашка её видел. И не поправил. Не хотелось лезть руками.

Вот тогда, в ту первую присыпку, что-то и переменялось. Пашка не смог бы сказать что. Просто с того вечера ему стало нехорошо на мысу. Не страшно даже — а тошно, как бывает, когда съешь несвежего. Мотор тарахтел так же, прожектор светил так же, но воздух над разрытой землёй сделался другим. Гуще. С запахом. Не гнили — гнилью тут пахло всегда, болото. А чем-то холодным и сладковатым, вроде как ландышем, только испорченным, приторным до дурноты.

За эти три вечера Пашка плохо спал. Ложился в вагончике в конце смены, мёртвый от усталости, а сон не шёл — чудилось, что кто-то ходит вокруг вагончика по гравию, медленно, босиком, шлёп-шлёп, и останавливается у окна, и дышит там, за тонкой жестяной стеной. Выглянешь — никого. Туман да отвалы. А только ляжешь — опять шлёп-шлёп.

В первый же вечер, как тронули кости, к Пашке подошёл старик из села — тот самый Сазон, что потом погибнет вторым, только Пашка того ещё не знал. Старик стоял у края стройки, не решаясь ступить на мыс, и кричал Пашке сквозь рёв дизеля: не рой, сынок, тут

нельзя, тут скудельница, тут заложные лежат, разбудишь — всем конец. Пашка тогда только покрутил пальцем у виска и крикнул в ответ: иди, дед, отсюда, не мешай работать, покуда ковшом не зацепил. Старик постоял, покачал головой и ушёл, бормоча что-то про грех и про то, что ответ держать придётся не ему. Сейчас, на третий вечер, Пашка вспомнил этого старика — и впервые пожалел, что не послушал.

Сегодня был третий вечер. И запах стоял такой, что Пашка через раз опускал стекло сплюнуть.

Ковш взял землю, поднял, развернул стрелу к отвалу — и Пашка увидел, что берцовая кость, та самая, торчавшая пальцем, пропала.

Он затормозил стрелу. Прищурился сквозь туман. Нет кости. Осыпалась, наверное. Присыпало. Он повёл прожектором по куче — и луч скользнул по чему-то, чего там быть не могло.

По следу.

От кучи костей, через свежий отвал, по мокрой глине шла цепочка следов. Босых. Человеческих — и не человеческих. Ступня была узкая, длинная, с растопыренными пальцами, и шаг между отпечатками был широкий, неровный, будто шедший то ли хромал, то ли ступал не по-людски — то короче, то вдруг очень длинно, перемахивая по метру. Следы вели от кучи прочь, к воде, к старице, и там терялись в тумане.

Пашка сидел, вцепившись в рычаги, и говорил себе: собака. Лось. Кто-то из местных пришёл ночью, дурак, поглазеть. Мало ли босых дураков. Но собака не оставляет пятипалых следов. И лось. И дурак не ходит босиком по глине в сентябре, когда по утрам уже иней.

Он потянулся к рации. И в этот миг стало тихо.

Не так, что заглух мотор, — мотор он слышал, ровное дизельное урчание под собой. А так, что пропали все остальные звуки. Не стало ни возни в осоке, ни капли с ольхи, ни далёкого гула трассы за лесом. Мир сузился до кабины, до квадрата света, до тумана, обступившего его со всех сторон плотной серой стеной. И в этой стене, прямо перед стеклом, из молока проступила фигура.

Человек. Стоял в пяти шагах, по колено в тумане, и смотрел на Пашку снизу вверх — прямо в кабину, прямо в глаза.

Мужик. Немолодой, крепкий, в тёмной, истлевшей до дыр рубашке, из-под которой торчали ключицы. Босой. Мокрый — с него текло, будто он только что вышел из воды, хотя дождя не было. Волосы облепили череп, борода свисала слипшимися прядями. Кожа у него была не белая даже, а серая, глиняная, натянутая, и от неё в свете прожектора шёл тот самый приторный ландышевый дух, что не давал Пашке дышать третий вечер.

Но страшнее всего было лицо. Оно было почти обычное — усталое, немолодое мужицкое лицо, — и в этой обычности пряталось что-то невыразимо неправильное, отчего у Пашки враз пересохло во рту. Глаза. Они не отражали свет прожектора. Совсем. Два тёмных провала, и в глубине их — красноватый тлеющий уголёк, как гниль в трухлявом пне светится ночью в лесу.

Мужик открыл рот. И Пашка, сквозь стекло, сквозь рёв дизеля, услышал его так ясно, будто тот говорил у самого уха, изнутри головы:

— Кто меня разбудил?

Голос был тихий, ровный, спокойный. Не злой. Как у человека, которого разбудили среди ночи, и он ещё не понял толком, обижаться ему или нет, но уже знает, что кто-то за это ответит.

Пашка рванул рычаг, разворачивая стрелу, — сам не зная зачем, то ли отгородиться ковшом, то ли ударить. Ковш пошёл, тяжёлый, стальной, полтонны железа, и прошёл через то место, где стоял мужик.

Мужика там не было.

Он был в кабине.

Пашка почувствовал холод раньше, чем понял, — холод справа, на соседнем сиденье, откуда потянуло ландышем и стоячей водой, и ледяная рука, узкая, с длинными пальцами,

легла ему на шею сзади, под затылком, там, где бьётся жила. Пальцы были не сильные даже. Просто холодные и уверенные, как у того, кто знает своё дело и делал его много раз.

— Ты меня разбудил, — сказал голос уже в самой голове, ласково, почти с сожалением. — Значит, ты первый. Ничего. Долг большой. На всех хватит.

Пашка захрипел. Он хотел крикнуть, но крик не шёл — горло сжало, будто затянули жгутом. Он видел перед собой стекло, туман, размытый свет прожектора, и в этом свете — след ковша на пустой глине, там, где никого не было и не могло быть. А холод входил в него через шею, растекался по плечам, по груди, к сердцу, и вместе с холодом уходило тепло — быстро, толчками, в такт слабеющему пульсу, будто кто-то тянул из него кровь через две тонкие соломинки чуть ниже уха.

Последнее, что он осознал ясно, — что мотор всё ещё работает. Ровно, послушно, по-рабочему. И что дизель будет тарахтеть до утра, пока не кончится солярка, над кабиной, в которой сидит остывающий человек с двумя аккуратными ранками на шее и с землёй под ногтями, которую он туда не набирал.

А туман сомкнулся над мысом. И на мокрой глине, ведя от кабины прочь, к разрытой куче костей, легла новая цепочка широких босых следов.

Заложный вернулся домой. И лёг досыпать — до следующей ночи.

Он ждал полвека. Он мог подождать ещё сутки.

Глава 1. Болото шепнуло имя

В Чернотопье стояла та особенная сентябрьская тишина, какая бывает только на болоте перед первыми холодами. Днём ещё держалось тепло, лениво звенела последняя мошка над водой, и на огороде созревала капуста, тяжёлая, в серебристой росе. Но по утрам трава уже седела инеем, и с торфяных окон, что чернели за околицей, тянуло холодным, старым дыханием земли, которая помнит больше, чем говорит.

Корнеев кормил дровами печь.

Он делал это медленно, обстоятельно, как делал теперь всё, — раскалывал полено, слушал, как звенит сухая берёза под топором, укладывал в топку крест-накрест, чтоб тяга взяла. Ещё год назад он не отличил бы берёзу от ольхи и не понял бы, зачем это надо — знать, каким деревом топить в какую погоду. Год назад он был другим человеком. Следовательно из Москвы, отставленный, спившийся наполовину, приехавший в глухую вологодскую деревню на последнее в жизни дело и оставшийся тут навсегда. Теперь он колол дрова, знал, что осину не жгут в доме, а берёзу не жгут в баню, и по цвету дыма над трубой соседней избы мог сказать, чем топят и всё ли там ладно.

Он изменился так, что старый Корнеев, увидев нынешнего, не узнал бы себя. И, пожалуй, не одобрил бы. Тот, прежний, верил только в факты, в протоколы, в биохимию распада и в подлость человеческую как единственную движущую силу мира. Нынешний знал, что мир куда шире протокола, и что подлость — только один из его языков, а есть и другие, постарше.

За полгода Хранительства он усвоил главное, чему нельзя научиться по книгам, а можно только прожить: мир мёртвых не поделён на области и районы. Он единый. Уговоры, что рвутся в одном углу страны, расходятся трещинами по всей ткани, как лёд по осеннему пруду, и Хранитель чувствует эти трещины кожей, спиной, тем местом под сердцем, где у обычного человека ничего нет, а у него теперь было — как второй, тихий пульс.

Дверь скрипнула. Вошла Василиса, внесла с собой запах яблок и остывшего сада. В руках — плетёная корзина с последними, битыми уже яблоками-падалицей, из которых она гнала уксус и мочила в бочке. Она поставила корзину, распрямилась, положила ладонь на живот — жест, который появился у неё недавно и стал уже привычным, бессознательным. Живот только-только начал округляться, едва заметно под просторной кофтой, но Василиса носила его так, будто в нём была не тяжесть, а свет, который надо беречь от сквозняка.

Корнеев смотрел на неё от печи и в который раз ловил себя на глупой, тёплой, ничем не заслуженной радости. Зеленоглазая. Красивая той красотой, которая когда-то, при первой встрече, показалась ему нечеловеческой и опасной, как само болото, а теперь стала просто её лицом — родным до боли. Дочь знахарки Марфы, из древнего рода Мороковых, что стоял на Границе между этим миром и Навью с тех пор, как эта граница вообще пролегла. Хранительница. Его женщина. И мать его будущего ребёнка — первого, кого этот род зачал не в одиночестве, не для того, чтоб передать долг, а в любви и для того, чтобы просто жить.

— Топишь? — сказала она. — К ночи похолодает. Я по колену чувствую.

— По колену, — усмехнулся он. — Раньше говорили — к дождю.

— К дождю тоже, — согласилась Василиса. — Но сегодня не к дождю. — Она помолчала, глядя в окно, за которым садилось низкое, красное сквозь торфяную дымку солнце. Лицо её изменилось — стало собранным, чужим, как всегда, когда она слушала не ушами. — Сегодня к вести.

Корнеев отложил топор. За полгода он научился читать эти её замиранья. Он не спрашивал сразу. Он ждал. Так же, как на допросе не торопил человека, поймавшего мысль: перебеешь — спугнёшь.

Василиса подошла к окну вплотную, тронула холодное стекло пальцами. За стеклом, за огородом, за плетнём, лежало болото — чёрное, бескрайнее, курящееся вечерним туманом. Оно было живое. Оно всегда было живое, и Корнеев давно перестал притворяться, что это метафора. Болото дышало. Болото слушало. И иногда болото говорило — не ему, ему оно только гудело в спине неясной тревогой, а ей, Василисе, по крови, по праву рода. Оно шептало ей имена.

— Дима, — сказала она тихо, не оборачиваясь. — Оно шепнуло.

— Что шепнуло?

— Имя. — Она прикрыла глаза. — Далеко. На западе. За многими водами. — Она нахмурилась, вслушиваясь. — Там разрыли землю. Такую землю, какую нельзя рыть. И подняли того, кого клали, чтоб лежал. — Она поёжилась, будто от холода, хотя от печи уже шло тепло. — Заложный, Дима. Кто-то поднял заложного.

Корнеев подошёл, встал рядом, положил руку ей на плечо. Он не понимал ещё слова, но понимал холод, что от неё исходил, — тот особый холод, каким тянет от порванного уговора.

— Заложный — это кто? — спросил он спокойно, по-следовательно, чтоб она собралась и рассказала по порядку.

— Покойник, что не лёг, — сказала Василиса. — Не всякий мёртвый ложится, Дима. Кто помер своей смертью, в свой срок, отпетый, оплаканный, — тот ложится и лежит. Земля его берёт. А кто помер не своей — утоп, удавился, замёрз, убит без покаяния, зарыт без имени, — того земля не принимает. Он остаётся заложным. Заложным. Прилётшим до срока. Лежит тихо, покуда его не трогают. А тронешь — встаёт. И встаёт голодным. — Она обернулась к нему, и в зелёных глазах её был не страх, а тяжёлое узнавание. — Их клали отдельно. На нечистых погостах, на скудельницах, на болотных мысах — там, где обычных не хоронят. И был уговор: мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. А кто-то тронул. Взял ковшом, как всё берут теперь. И теперь там будут умирать.

— Уже умирают, — сказал Корнеев. Он сам не знал, откуда взялась эта уверенность, — просто знал, как знает Хранитель. — Первый уже есть.

— Есть, — эхом отозвалась Василиса. — Я его чувствую. Кровь ушла. Быстро. — Она сжала его руку. — Это упырь, Дима. Заложный, что пьёт кровь. Самый простой из мёртвых и самый жадный. У него нет ни хитрости лешего, ни печали водяного, ни материнской тоски полуночницы. Он просто голоден. Он лежал полвека, а может и больше, и его подняли, и теперь он берёт своё. И он не остановится, пока не доберёт долг сполна или пока его не уложат обратно как должно.

Печь гудела. За окном догорал закат. Корнеев смотрел на чёрное болото и думал о том, как странно устроена стала его жизнь: сидит человек, коловший дрова, топивший печь, ждавший ребёнка, и вот приходит вечер, и болото шепчет имя, и надо снова собираться в дорогу, к чужой беде, потому что больше некому.

За этот год он много думал о том, кем был и кем стал. Прежний Корнеев — московский следователь, сажавший людей двадцать лет, — носил в себе целый чердак чужих бед — тех, кого не уберёт, кого засадил не по правде, кого прикрыл по команде. Циник, полуспившийся, веривший только в подлость как единственную движущую силу мира. Нынешний — топил печь, читал тетрадь мёртвой знахарки, говорил с духами по чести и ждал дочь. И самое странное — он был счастлив. Впервые за всю жизнь — по-настоящему, тихо, без вины.

Счастье это пугало его. Он не умел быть счастливым и всё ждал, что за счастье придётся платить. Он знал цену Хранительства — видел, как оно берёт, по крупице, с каждым делом. И теперь, когда у них появилось что терять — она, дитя, этот дом, эта тихая жизнь, — цена пугала его вдвойне. Раньше ему нечего было терять — он шёл навстречу тьме легко. А теперь было. И это меняло всё.

— О чём ты? — тихо спросила Василиса, угадав его молчание, как угадывала всегда.

— О том, что мне теперь есть что терять, — сказал Корнеев честно. — Раньше не было. Я шёл на любую тьму легко — потому что нечего было беречь. А теперь есть ты. И он. Или она. И мне страшно, Василиса. Впервые за много лет мне есть чего бояться.

Василиса молча взяла его руку, прижала к губам. Она не стала утешать его пустым — что всё обойдётся, что бояться нечего. Она была Хранительница и не умела врать ни мёртвым, ни живым.

— Страх — это хорошо, — сказала она. — Страх значит, что ты живой. Что тебе есть что беречь. Мама говорила: самый опасный Хранитель — тот, кому нечего терять. Он лезет напролом и гибнет. А тот, кому есть что терять, — тот осторожен, умён, живуч. Страх несёт нас беречь друг друга. И его. — Она положила его ладонь себе на живот. — Мы поедem и сделаем дело. Но мы будем осторожны. Потому что нам есть ради чего быть осторожными. Впервые за весь род Мороковых.

— Далеко, говоришь, — сказал он. — Запад. За многими водами.

— Далеко, — кивнула Василиса. И вдруг замерла снова, будто вспомнила. — Дима... а помнишь, что старуха сказала? Уходя. Зимой.

Корнеев помнил. Такое не забывается.

Была зима, снег, крыльцо, чай с мятой. И маленькая сгорбленная старуха в одежде из мха и коры, седая, с белыми глазами, в которых мелькали зелёные искры, — та, что помнила начало времён и от которой стучала по мёрзлой земле костяная нога. Она сидела с ними на крыльце, пила чай из третьей кружки, ворчала на оwinника, называя его скрягой соломенным. А потом, уходя, обронила, будто между делом: на западе кто-то русалок тревожит, плотину строить удумали. Да это потом, сказала она. Потом. Сперва чаю.

Тогда они не придали значения. Мало ли что тревожит старуху, помнящую начало времён. У неё вся земля болит, как у врача — все чужие болезни.

— Плотину, — сказал Корнеев медленно. — Она сказала — плотину строить удумали. На западе. У воды.

— Дамбу, наверное, — сказала Василиса. — Или водохранилище. Плотина — это вода. А ты сказал — за многими водами. И я вижу воду. Реку, пойму, старицу. И стройку. — Она посмотрела на него. — Это то самое место, Дима. Она нам его назвала полгода назад. Только про русалок ошиблась. Или не ошиблась, а просто не всё сказала. Она никогда не говорит всё.

Корнеев отошёл от окна, сел к столу, где лежал его старый рабочий блокнот — он так и не отвык записывать. Взял карандаш. Написал: запад, вода, стройка, плотина/дамба, разрытый погост, заложный, упырь. Кровь.

Смотрел на эти слова. Полгода назад он бы вычеркнул половину как бред. Теперь это была рабочая версия. Единственная. И самая верная.

— Надо ехать, — сказал он. И тут же поймал себя, посмотрел на неё, на живот под кофтой. — Мне надо ехать. Ты останешься.

Василиса засмеялась — тихо, без обиды, как смеются на слова, сказанные сто раз и сто раз бесполезно.

— Дима.

— Василиса. Ты на четвёртом месяце. Там упырь, который пьёт кровь. Там стройка, начальство, чёрт знает что. Я не повезу тебя туда.

Она подошла, села напротив, взяла его руки в свои. Руки у неё были тёплые, шершавые от работы, пахли яблоками и полынью.

— Послушай меня, — сказала она мягко, но так, что он замолчал. — Ты Хранитель. Хороший. Ты научился слышать, читать след, говорить с ними по чести. Но ты не знаешь обрядов. Ты не знаешь, как укладывают заложного. Ты видел, как я это делаю, но сам не сделаешь — не той рукой рождён. А заложного не арестуешь, Дима. Его не допросишь и не посадишь. Его надо уложить. По правилу. С обрядом. Иначе он встанет опять, хоть ты его сто раз в землю

зарой. — Она сжала его пальцы. — Тебе нужна я. Как в Заречье. Как в Жнивье. Мы Хранители вдвоём. По одному мы половинки.

— В Заречье и в Жнивье ты не носила ребёнка, — сказал он глухо.

— Носила, — поправила она с грустной улыбкой. — В Жнивье уже носила. Просто мы ещё не знали. Он был со мной у овина, Дима. Он был со мной в горячей риге, у банника, везде. И ничего. Мы прошли. Он крепкий. Он двух Хранителей ребёнка. — Она положила его ладонь себе на живот. — Я не безрассудна. Я знаю цену. Но я знаю и другое: если заложного не уложить, там умрёт всё село. Дети тоже. Много детей. А я не смогу сидеть здесь, у печки, зная это, и качать своё дитя, пока чужие остывают. Ты бы смог?

Корнеев молчал. Под ладонью, под тёплой кожей, была жизнь — крохотная, спящая, ещё не знающая ни болота, ни упырей, ни цены Хранителей. И была правда её слов, тяжёлая и неоспоримая, как всё, что говорила Василиса. Хранительница не может спасти всех. Но и отвернуться не может. В этом весь ужас и вся честь их ремесла.

— Мы будем осторожны, — сказал он наконец. — Ты не пойдёшь ночью. Ты не подойдёшь к нему. Ты будешь при мне или при людях. И если я скажу — уезжаешь, ты уезжаешь без спора.

— Без спора, — соврала она с такой ясной, честной улыбкой, что он понял: спорить будет, и ещё как. Но кивнул. Потому что другого выхода не было, и потому что она была права, и потому что он давно уже не мог представить себе дела без неё рядом.

За окном совсем стемнело. Болото дышало в ночи, и в его дыхании Корнееву теперь ясно слышалась дальняя, западная тревога — как сквозняк из открытой где-то далеко двери.

— Как называется это место? — спросил он. — Ты слышала?

Василиса прикрыла глаза, вслушиваясь в последний, гаснущий шёпот болота.

— Гать, — сказала она. — Гнилая Гать. И река при ней — Вопь. — Она открыла глаза. — Дурное имя, Дима. Вопь. От слова вопить или от слова топь — не знаю. Но доброго места так не назовут.

— Доброе место, — сказал Корнеев, вставая и снимая с крючка старую куртку, будто собираясь ехать сию минуту, хотя ехать было к утру, — доброе место нас с тобой и не позовёт. Мы по недобрым специалисты.

Он поставил чайник. Налил в кружки. Достал сушёную мяту из связки под потолком. Они сидели за столом при керосиновой лампе — электричество в Чернотопье к ночи слабело до жёлтого умирания, и они давно предпочитали живой огонь, — пили чай и составляли, что взять в дорогу. Соль. Осину. Свечи. Ладан. И материнскую тетрадь — главное.

Они собирали вещи долго, обстоятельно, как собираются люди, знающие, куда едут. Василиса снимала с потолка связки трав, перебирала, откладывала нужное: одолень-траву от нечистого, плакун от слёз мёртвых, чертополох, полынь, сушёный мак — мак особенно, говорила она, мак против ходячих мертвецов первое дело. Корнеев смотрел, как она это делает, и думал, что год назад он бы только усмехнулся на этот «травной набор». А теперь знал: каждая трава — как патрон определённого калибра, и пренебрегать ею так же глупо, как идти на задержание без патронов.

Он собрал своё: старый блокнот, фонарь, нож, служебное удостоверение внештатного консультанта, которое открывало кое-какие двери. Следовательское и Хранительское срастались в нём так, что он уже не различал, где кончается одно и начинается другое. Фонарь и соль. Блокнот и ладан. Протокол и обряд. Два ремесла, ставшие одним.

— Самое важное не забудь, — сказала Василиса, бережно заворачивая в холстину старую тетрадь — материнскую, Марфину, в которой были записаны все уговоры и все обряды, добытые кровью многих поколений Мороковых. — Без неё я как ты без блокнота. Не помню всего. А там — всё, что род мой узнавал тысячу лет.

Она полистала тетрадь перед тем, как завернуть, — пожелтевшие страницы, исписанные разными руками, в разные века, выцветшими чернилами и углём, и карандашом, и чем-то бурым, похожим на засохшую кровь. — Вот, смотри, — сказала она тихо, показывая одну из страниц. — Заложный. Маминой рукой. Она укладывала одного, давно, до меня ещё. Здесь всё: чем держать, чем отвадить, чем уложить. Только... — она нахмурилась, всматриваясь в выцветшие строки, — только тут ещё приписка есть, мамина: «Злого — колом да огнём, а обиженного — правдою. Как узнаешь, какой перед тобою, — так и лечи». Вот это главное, Дима. Сначала узнать, какой. Злой или обиженный. А узнаётся это не обрядом — а твоим ремеслом. Расследованием. Надо узнать, кто он был и за что его. Без этого я не пойму, какой обряд нужен.

Корнеев взял тетрадь осторожно, как берут вещественное доказательство, и долго смотрел на выцветшую строку, писанную рукой мёртвой тещи, которую он никогда не видел. Марфа. Знахарка, что отдала себя за Границу ещё до того, как он попал в эти края. Женщина, которая заплатила собой так, как платили все Мороковы до Жнивья, — целиком, жизнью. И подумал, что везёт теперь её дочь в новое гиблое место, беременную, — и поклялся молча, что эта цепочка женских жертв на нём прервётся. Что ни Василиса, ни дочь не лягут за Границу целиком. Не при нём.

— Марфа, — сказал он тихо, проводя пальцем по строке. — Спасибо, мать. Помогла и оттуда. Как узнаешь, какой, так и лечи. Это я понимаю. Этому меня двадцать лет учили.

А поздно ночью, когда Василиса уже спала, положив руку на живот, Корнеев вышел на крыльцо, закурил — редко теперь курил, но в такие ночи тянуло, — и стоял, глядя в чёрное, дышащее болото.

— Ну, — сказал он тихо, ни к кому. — Кто ты там, на западе. Заложный. Упырь. Кто тебя обидел так, что ты полвека лежал и ждал. Я приеду. Разберусь. Я всегда разбираюсь.

Болото не ответило. Но где-то далеко-далеко, за многими водами, в ту же самую ночь, в жёлтой пойме под Гнилой Гатью, экскаватор всё тарахтел над остывшей кабиной, в которой сидел мёртвый Пашка Долгих, а по мокрой глине шёл, широко и неровно ступая босыми ногами, тот, кого разбудили. Он был не голоден больше. Он был терпелив. Он снова лёг досыпать в разрытую землю, свернувшись среди чужих костей, как человек среди родни.

И ждал следующего.

Глава 2. Дорога на запад

Ехали два дня.

Сначала — на стареньком, но крепком уазике, что достался Корнееву от здешнего участкового вместе с должностью внештатного консультанта и молчаливым уговором не задавать друг другу лишних вопросов. Уазик был железный, неубиваемый, пах бензином и старой кожей, и трясло в нём так, что Василиса сначала беспокоилась за ребёнка, а потом привыкла и задремала, привалившись к плечу Корнеева, пока он крутил баранку по разбитым просёлкам, выводя из вологодской глухомани к трассе.

Потом была трасса — серая, бесконечная, в мороси. Придорожные посёлки со своими облупленными автобусными остановками, шиномонтажами, крестами на обочинах там, где кто-то не вписался в поворот. Заправки, где Корнеев брал плохой кофе и хорошие пирожки, а Василиса — минералку и яблоки, которых, впрочем, у неё был полный мешок из своего сада. Мотели, где они ночевали, — с продавленными кроватями, с телевизором, показывающим три канала, с ночным дежурным, что смотрел на паспорт Корнеева, на его лицо, потом снова на паспорт, будто вспоминая, и не вспоминал.

Корнеев любил дорогу. Дорога успокаивала. Она давала думать. За рулём, в мерном гуле мотора, под шорох дворников, мысли раскладывались сами собой по полкам, как раскладывались когда-то тома дела на его московском столе.

Он думал о том, что знал. Знал он мало. Разрытый погост. Заложный. Упырь. Первая смерть — Василиса чувствовала её ясно, кровь ушла быстро. Стройка — дамба, дорога, вода. Пришлый хозяин, который взял больше положенного и потревожил то, что лучше бы спало. Всё как всегда. Всё по знакомой ему теперь до тошноты схеме.

И всё же каждый раз было иначе. Болото было не лес. Лес был не озеро. Озеро было не зимняя деревня с младенцами. А овин с его домашним, сытым, хозяйственным духом был совсем не похож на то холодное, голодное, что ждало их на западе. Корнеев научился не обольщаться опытом. Опыт давал форму, но не давал содержания. Форму — да: жди старую вино, жди молчание, жди пришедшего виноватого и настоящего, невиновного, которого назначат козлом отпущения. Но кого именно погубили полвека назад на болотном мысу, за что, кто молчал и почему — это предстояло узнать заново, с нуля, ногами и разговорами, как узнавал он всё и всегда.

— О чём думаешь? — спросила Василиса, проснувшись. Она всегда чувствовала, когда он уходил в себя.

— О том, что мы едем закрывать чужой долг, — сказал Корнеев. — Опять. И что мне это перестало казаться странным. Раньше я ехал ловить убийцу. Теперь еду хоронить мертвеца по правилам. И это, оказывается, тоже работа. И даже, может, более честная.

— Более честная, — согласилась Василиса. — Убийцу поймает — посадишь, а зло останется. Мёртвого уложишь как должно — и на этом месте станет тихо. Насовсем. Я потому и люблю нашу работу, Дима, хоть она страшная. Она чинит. А твоя прежняя только наказывала.

— Не идеализируй, — усмехнулся он. — Наша работа тоже наказывает. Просто не тех, кого закон. — Он помолчал. — Меня другое гложет. Заложного подняли ковшом. Случайно. По жадности, по глупости, по графику. А значит, живого виноватого в смертях как бы и нет. Стоянов, начальник стройки, — он потревожил могилу, да. Но он не убивал. Он даже не знал, что творит. И это плохо.

— Почему плохо?

— Потому что следствию нужен виноватый, — сказал Корнеев. — Живой. С фамилией. Которого можно посадить и отчитаться. А когда живого виноватого нет, начальство начинает его назначать. И назначит первого попавшегося — местного чудака, обиженного мужика, при-

езжего сектанта. Кого угодно. Лишь бы закрыть дело. Я это видел сто раз. И мне придётся не только упыря укладывать, но и живых от живых защищать. От их же следствия. — Он посмотрел на дорогу. — Это, Василиса, всегда самое трудное. Мёртвые честнее живых. Мёртвый берёт своё по правде. А живой возьмёт чужое и не поморщится.

Ночевали в придорожном мотеле где-то уже за Тверью, и ночью, лёжа на продавленной кровати, Василиса вдруг взяла его руку и приложила к животу.

— Чуешь? — сказала она. — Толкается. Беспокойно ему. Оно чувствует, куда мы едем. Оно ведь тоже Хранитель, Дима. Первое дитя двух Хранителей. Оно чувствует то же, что и я. Границу. Мёртвых. Рваную ткань.

Корнеев лежал, ощущая ладонью толчки — маленькие, твёрдые, живые, — и чувствовал то, чего не умел назвать словами. Страх и нежность вместе.

— Мне страшно везти тебя туда, — сказал он тихо. — Беременную. В гиблое место, где ходит упырь. Может, напрасно я согласился. Осталась бы дома, в Чернотопье, под болотом...

— Нет, — сказала Василиса твёрдо. — Мы вместе, Дима. Мы парные Хранители, нас овин повенчал огнём и шрамами. Один без другого теперь слаб. Ты чуешь границу вторым пульсом — а я читаю её, слышу имена, знаю обряд. Порознь мы полдела. Вместе — целое. А дитя... — она положила ладонь поверх его, — дитя со мной, где я. Так у Мороковых испокон. Мать моя носила меня по болотам, и бабка мать. Ничего. Оно крепкое. Оно хранительское.

Но Корнеев слышал в её голосе то, чего она не говорила: что и ей страшно. Что цена Хранителей — это не только шрамы от овина и не только бессонные ночи. Цена — вот эта вечная тревога за тех, кого любишь, когда везёшь их за собой в каждое новое гиблое место, потому что порознь вам уже не прожить.

Он притянул её к себе, и они лежали молча в чужой комнате, двое меченых огнём, и третий, крошечный, между ними, и слушали, как за тонкой стенкой проезжают в ночи фуры, увозя чужую, мирную, не знающую никаких заложных жизнь.

К вечеру второго дня они свернули с трассы.

Дорога сразу испортилась — асфальт сменился латаным, потом гравийкой, потом просто накатанной глиной, по которой узик пошёл боком, вихляя. Пейзаж менялся вместе с дорогой. Ушли поля, пошёл лес — не вологодская тайга, а другой, западный, лиственный, сырой: осина, ольха, ива по низинам, и всё это стояло в предвечернем тумане, что натекал из бесчисленных болот и стариц. Земля здесь была плоская, влажная, изрезанная канавами и старыми мелиоративными рвами, наполовину заплывшими. Небо низкое, серое, тяжёлое.

— Чувствуешь? — спросила Василиса тихо. Она сидела прямая, напряжённая, положив обе ладони на живот. — Дима, чувствуешь?

Корнеев чувствовал. Тот второй, тихий пульс под сердцем сбился, забился неровно, тревожно, как перед грозой. Воздух стал другим — гуще, холоднее, с привкусом стоячей воды и ещё чего-то, сладковатого, приторного, от чего першило в горле.

— Чую, — сказал он. — Как порванная струна. Дёргает.

— Мы близко, — сказала Василиса. — И, Дима... тут не только он. Тут ещё что-то. Земля вся больная. Не одна могила порвана — тут вся ткань истёрлась, давно, задолго до стройки. — Она поёжилась. — Дурное место. Старуха не соврала.

Указатель возник из тумана внезапно — ржавый, покосившийся, с полустёртой краской: ГНИЛАЯ ГАТЬ. И ниже, помельче, кем-то дописано от руки, недавно, чёрным: не строй.

Корнеев притормозил. Прочитал. Хмыкнул.

— Радужная встреча, — сказал он.

За указателем начиналась гать — настоящая, старая гать, бревенчатая дорога через болото, положенная бог знает когда, латаная бетонными плитами в советские годы, а теперь снова оседающая в трясину. Узик пошёл по ней медленно, переваливаясь с бревна на плиту, и по обе стороны стояла чёрная вода, курилась туманом, и в ней отражалось серое небо и голые

ветки ольхи, и что-то ещё — Корнееву на миг почудилось, что в воде, под самой поверхностью, кто-то есть, бледное, длинное, смотрит вверх, — но он моргнул, и не стало ничего, только вода да туман.

— Не смотри в воду, — сказала Василиса, не глядя на него. — Тут смотреть в воду нельзя. Она смотрит в ответ.

Корнеев отвёл глаза от воды, но ощущение осталось — что чёрная вода по обе стороны гати живая, что она провожает их взглядом из-под поверхности. Он вел узик медленно, переваливаясь с бревна на плиту, и думал, что гать — это правильная метафора для всего, что их ждёт. Гать — это тонкая, шаткая твёрдь над трясиной, положенная чьими-то руками много лет назад, чтоб пройти над гиблым местом, не утонув. А под ней — чёрная глубина, которая только и ждёт, когда оступишься.

— Старая гать, — сказала Василиса, будто угадав его мысль. — Люди её триста лет латали, поколение за поколением. Клали брёвна, чтоб пройти над топью. Вот так и с памятью, Дима. Кладёшь бревно за бревном — и проходишь над тёмным. Перестанешь класть — трясина всё затянет.

Корнеев кивнул. Он ещё не знал тогда, насколько точно эти её слова опишут всё, что их ждёт в Гнилой Гати.

Гать вывела на твёрдое. Впереди, на невысокой гриве среди болота, показалось село — длинная кривая улица вдоль реки, тёмные избы, редкие огни в окнах, силуэт колокольни без креста над крышами. А дальше, за селом, за рекой, в пойме, — Корнеев увидел это и сразу понял, что это оно, — стояли жёлтые огни стройки. Прожекторы. Отвалы грунта, тёмные на фоне неба. Стрела экскаватора, задранная, неподвижная. Недостроенная насыпь дамбы, перегородившая пойму, как плотина перегораживает реку.

И над всем этим — над селом, над рекой, над стройкой — висела тишина. Не мирная деревенская тишина, а та, которую Корнеев научился узнавать: тишина места, которое ждёт беды и знает, что она уже пришла.

— Приехали, — сказал он.

Василиса не ответила. Она сидела, прижав ладони к животу, и губы её чуть шевелились — она что-то шептала, оберег ли, молитву, или просто говорила с теми, кого чувала впереди.

— Здесь их много, Дима, — сказала она наконец, не открывая глаз. — Мёртвых. Очень много. Не один, тот, который встал, — сотни. Целый погост, старый, набитый докрая. И все они потревожены. Но лежат. Все, кроме одного. — Она открыла глаза. — Это не просто дело об одном упыре, Дима. Это целое гиблое место. Рана на ткани мира, которую расковыряли ковшом. Закрыть одного — мало. Придётся чинить всё.

Корнеев посидел мгновение, глядя на село через запотевшее стекло. Он научился читать места ещё с молодости — входить в чужой город, в чужую деревню и чувствовать её температуру, её болезнь. Чернотопье когда-то встретило его гробовой тишиной и фальшивым радушием. Озёрное — заколоченными лодочными сараями и страхом в глазах рыбаков. Жнивье — стыдом, вросшим в брёвна. А Гнилая Гать — Гнилая Гать встречала страхом. Откровенным, животным, не прячущимся. Страхом, который горел во всех этих окнах, не гаснувших глубокой ночью, — потому что село боялось тьмы и жгло свет, как жгут его дети, боящиеся темноты.

— Страшное место, — сказала Василиса тихо. — Не от упыря. Упырь — это новое. А страшное оно давно. Задолго до стройки. Тут вся земля пропитана чем-то старым, гнилым. Страхом, виной, молчанием. Как в трясине — сверху вода, а под ней — веками копившаяся гниль. — Она поёжилась. — Мы сюда надолго, Дима. Это не быстрое дело. Тут глубоко копать придётся. До самого дна.

Он остановил узик на въезде в село, у первой избы, и заглушил мотор. И в наступившей тишине они оба слышали — далеко, за рекой, со стороны стройки — ровное, монотонное тархтенье дизеля. Мотор работал. Один, в ночи, без человека.

Василиса медленно повернула голову на этот звук. Лицо у неё было белое.

— Дима, — сказала она едва слышно. — Там мёртвый. В машине, что тарахтит. Сидит уже сутки. Мотор работает, а он мёртвый. — Она сглотнула. — Это тот, кто его разбудил. Копал, где нельзя, — и разбудил. Он не первый убитый, тут уже были до него, — но он первый виновный. Тот, с кого всё пошло.

Корнеев смотрел на далёкие жёлтые огни, на задранную стрелу, слушал ровный, бездушный, механический звук мотора, тарахтящего над мертвецом.

— Значит, оттуда и начнём, — сказал он. И вышел из машины в холодный, приторный, сладковатый туман Гнилой Гати.

Глава 3. Первый мертвый

Участковый в Гнилой Гати был один на три села, и звали его лейтенант Тишин.

Он приехал на въезд минут через двадцать после того, как Корнеев позвонил в район по номеру, который дал ему куратор ещё в Вологде, — на дребезжащем мотоцикле с коляской, в форменной куртке поверх свитера, молодой, худой, с воспалёнными от бессонницы глазами. Ему было года двадцать три, не больше. Он выскочил из коляски, козырнул неловко, представился, и Корнеев сразу узнал этот тип — узнал по глазам, по тому, как парень озирался, будто ждал, что из тумана кто-то выйдет. Тишин был напуган. Смертельно, до самой кости напуган — и до смерти рад, что приехал кто-то старше, опытнее, кому можно передать эту непосильную тяжесть.

— Дмитрий Алексеевич? — сказал он. — Мне полковник Ведерников звонил. Сказал — примите, разместите, содействуйте. Сказал — вы по особым делам. — Он сглотнул. — По таким, как у нас.

— По таким, — подтвердил Корнеев. — Это Василиса Андреевна, мой консультант. Эксперт. Она устала с дороги. Есть где ей отдохнуть?

— Есть, есть, — засуетился Тишин. — Я вас в дом определю, тут пустой стоит, приезжий дом, инженеры со стройки жили, потом... — Он осёкся. — Потом съехали. В общем, чисто там, натоплю. — Он посмотрел за реку, на жёлтые огни, на тарахтящий мотор, и лицо его перекопилось. — Дмитрий Алексеевич. Там... там опять. Со вчерашней ночи. Экскаваторщик, Долгих Павел. Не вышел на смену. Сменщик пришёл — а он в кабине сидит. Мотор молотит. А он... — Тишин замолчал, сглотнул. — Я туда с утра съездил. Один раз. Больше не могу. Ждал вас.

— Сколько всего? — спросил Корнеев ровно.

— Что — всего?

— Смертей. Долгих — не первый ведь?

Тишин посмотрел на него с тем отчаянным облегчением, с каким смотрит человек, встретивший наконец того, кому не надо объяснять с азов.

— Не первый, — сказал он тихо. — Долгих — четвёртый. — Он оглянулся на Василису, понизил голос, будто щадя её. — До него — тётка Настасья, доярка, нашли в хлеву, при скотине. Скотина тоже... тоже вся. Обескровленная. Потом дед Сазон, у реки. Потом мальчишка приезжий, турист вроде, с палаткой на старице стоял. — Он потёр лицо ладонью. — И у всех, Дмитрий Алексеевич, у всех одинаково. Кровь ушла. Две дырки на шее, вот тут. — Он ткнул себе под ухо. — И земля. Земля под ногтями у всех. Могильная. Хотя они не копали. Я эксперта из района вызывал, он приезжал, посмотрел, написал — острая кровопотеря, источник не установлен. Уехал. Больше не едет. Говорит — везите тела к нам, а я к вам не ездук.

Василиса стояла молча, слушала. Потом сказала — негромко, но так, что оба мужчины обернулись:

— Четыре. За сколько дней?

— За... — Тишин посчитал. — За девять. Первая, Настасья, — девять дней назад. Как раз когда на мысу кости пошли. Мы потом поняли — как раз тогда.

— Через два дня будет пятый, — сказала Василиса спокойно. — Он берёт раз в два-три дня. Отдыхает между. Отсыпается. Он не бешеный, он размеренный. — Она посмотрела на Корнеева. — Дима, надо к первому. Пока он в машине. Пока свежий след.

Тишин вытаращился на неё — на женщину, что говорила о мертвеце как о свежем следе, деловито, без ужаса. Потом перевёл взгляд на Корнеева, ища опоры в привычном мужском мире протоколов.

— Едем к машине, — сказал Корнеев. — Василиса Андреевна, ты со мной. Держись позади. Тишин, показывайте дорогу.

Дорога на стройку шла через село и дальше, через новый бетонный мост, наведённый строителями взамен старого деревянного. Уазик Корнеева полз следом за мотоциклом Тишина сквозь туман, мимо тёмных изб. Корнеев отметил: почти во всех окнах, несмотря на поздний час, горел свет. Село не спало. Село боялось спать. За многими стёклами он видел лица — старые, испуганные, провожавшие взглядом чужие фары. И почти на каждой двери, на каждой калитке, на каждом наличнике он видел одно и то же: свежие метки. Кресты мелом. Пучки чего-то — крапивы, полыни, чертополоха — прибитые над входом. Соль на порогах. Село оборонялось. Село знало, чем оборонялся его прадед, и вспомнило, как вспоминают в беде.

— Смотри, — тихо сказала Василиса, кивая на дома. — Они помнят. Полынь, чертополох, соль. От заложного. От ходячего мертвеца. Городской бы сказал — суеверие. А это, Дима, наука. Только старая. Тысячу лет проверенная.

— Ты сказала — упырь, — проговорил Корнеев, ведя уазик сквозь туман. — Чем он отличается от прочих? Мне надо понимать, с чем имею дело.

— Отличается, — сказала Василиса. — Леший — хозяин леса, он водит, путает, страшает, но он живой дух, стихия. Водяной — хозяин воды, топит, но тоже стихия, с ним можно договориться, дары носить. Полуночица — та мать, потерявшая дитя, её тоска ходит. А упырь — он не стихия и не хозяин. Он был человек. Мёртвый человек, что не лёг. И это хуже всего, Дима. Потому что стихия — она чужая, её понять трудно, а упырь — он был такой же, как мы. Жил, любил, обижался. Он помнит по-человечески. И мстит по-человечески — адресно, по списку, по обиде. Не вслепую, как стихия, а точно. — Она помолчала. — С таким и труднее, и легче. Труднее — потому что он умный, помнит, хитрит, говорит. Легче — потому что раз он был человек, то к нему есть, как к человеку, ход — слово, правда, покаяние. Стихию словом не возьмёшь, а человека — возьмёшь. Даже мёртвого.

Корнеев вёл машину и думал, что это и есть самое страшное и самое обнадёживающее разом: что там, впереди, в тумане, его ждёт не монстр, а мёртвый человек со своей правдой, со своей обидой, со своим списком. А с человеком — даже мёртвым — он работать умел. Двадцать лет только это и делал — разговаривал с теми, кто убивал по обиде и по списку.

За мостом начиналась стройка. Тишин остановил мотоцикл у бытовки, дальше не поехал, и Корнеев понял, что дальше парень не пойдёт ни за что. Он и не настаивал.

— Ждите здесь, — сказал он Тишину. — Если через полчаса не вернёмся — не ходите за нами. Езжайте в село, поднимайте людей и ждите утра. Понятно?

— Понятно, — прошептал Тишин, бледный как полотно.

Корнеев взял из машины фонарь, соль, свечу. Василиса — свой узелок с травами и материнскую тетрадь. Они пошли по грунтовке в глубь стройки, к тархтящему мотору, чей звук становился всё громче и всё невыносимее в мёртвой тишине поймы.

Туман здесь стоял стеной. Прожекторы стройки светили сверху, с мачт, но свет их вяз в тумане и не доставал до земли, оставляя всё внизу в мутных сумерках. Пахло соляжкой, глиной, стоячей водой — и под всем этим, всё сильнее по мере приближения, тем самым приторным, сладковатым, ландышевым духом, что Корнеев учуял ещё на въезде в село. Тем духом, каким пахнет порванный уговор. Каким пахнет заложный.

— Дима, — сказала Василиса, останавливаясь. Она смотрела в сторону, в туман, туда, где угадывалась гора отвала. — Он там. Его логово. Он туда уходит днём. В кости. — Она жала тетрадь. — Не подходи туда сейчас. Ночью нельзя. Днём. К машине можно — он в машине не сидит, он своё взял и ушёл. А к костям — нельзя.

Экскаватор возник из тумана внезапно — жёлтая громада, задранная стрела, работающий мотор, дрожащая от вибрации кабина. Стекло кабины запотело изнутри. За стеклом угадывался силуэт — сидящий человек, склонившийся к рулю, неподвижный.

Корнеев поднялся по гусенице, потянул дверцу кабины. Она открылась легко. И его обдало — не запахом ещё, запах пришёл через миг, — а холодом. Мёртвым холодом изнутри кабины, где по всем законам физики должно было быть тепло от работающего мотора, а было — как в леднике.

Пашка Долгих сидел, привалившись к рулю. Молодой мужик, лет тридцати, в рабочей куртке. Лицо — Корнеев повидал мёртвых, но такого не видел никогда. Оно было не бледное. Оно было белое, как бумага, как известь, ни кровинки, будто вылепленное из воска. Губы синие. Глаза приоткрыты, и в них — тот особый мутный ужас, что застывает у человека, увидевшего перед смертью то, чего не должно быть. А на шее, слева, под ухом, — две ранки. Аккуратные, круглые, чистые, без синяков вокруг, без рваных краёв. Как два прокола. И из них — ни капли. Всё выпито дочиста.

— Обескровлен, — сказал Корнеев тихо, профессионально, потому что профессиональный тон был его броней. — Полностью. При такой кровопотере должна быть лужа, брызги, что-то. А тут — чисто. Ни капли в кабине. Куда делась кровь?

— Он её выпил, — сказала Василиса, стоя внизу, не поднимаясь в кабину. — Всю. Дочиста. Заложный кормится кровью, Дима, — это не сказка, это буквально. Кровь — это жизнь, тепло, срок. Он берёт чужой срок, чтоб длить свой. — Она смотрела на мёртвого снизу вверх, и в глазах её была не брезгливость, а глубокая, старая печаль. — Посмотри на его руки.

Корнеев посмотрел. Руки Пашки Долгих лежали на коленях ладонями вверх. И под ногтями у него была земля. Чёрная, жирная, могильная глина — набитая плотно, глубоко, будто он рыл ею землю голыми руками. Но кабина была чистая. Он никуда не выходил. Он не мог набить руки землёй, сидя в кабине.

— Метка, — сказала Василиса. — Заложный метит своих. Кто его разбудил, кто его тронул — тому он под ногти кладёт свою землю. Могильную. Это как... как клеймо. Как долговая расписка. Он говорит: ты из моей земли теперь. Ты мой должник. — Она подняла на Корнеева зелёные глаза. — У всех четверых так, Дима. Тишин сказал. Значит, все четверо — из тех, кто его тронул или чья кровь ему должна. Долгих рыл — вот его метка. А остальные трое? Доярка, дед, мальчишка-турист? Они не рыли. За что метка им?

Корнеев спустился из кабины. Мотор всё тарахтел за спиной, ровно, бездушно. Он достал блокнот — рука сама потянулась, старая привычка, — и записал при свете фонаря: Долгих П., экскаваторщик. Обескровлен. Две ранки, шея слева. Земля под ногтями (метка). Крови нет — выпита. Четвёртый за 9 дней. Первые трое НЕ копали — за что метка? — И подчеркнул последнюю строчку дважды.

— Вот с этого и начнём, — сказал он. — С вопроса. Почему эти четверо. Заложный не берёт случайных, ты говоришь?

— Не всегда случайных, — сказала Василиса. — Первого он берёт того, кто разбудил, — это Долгих, он рыл. А дальше... — Она нахмурилась, вслушиваясь во что-то. — Дальше он берёт по долгу. По крови. По родовой вине. Он ищет тех, чья кровь ему задолжала. Кто его сюда положил. Или чьи деды положили. — Она посмотрела на Корнеева. — Нам надо узнать, Дима, кого здесь зарыли на мысу. И кто зарыл. Потому что упырь берёт не всех подряд. Он берёт своих должников. А значит, доярка, дед и мальчишка — они чем-то с ним связаны. Кровью. Родом. Виной. Найдём связь — найдём и того, за кем он придёт следующим. И, может, успеем.

Корнеев смотрел на неё, на туман, на тарахтящий экскаватор, на белое восковое лицо за стеклом.

— Живой убийца берёт по мотиву, — сказал он медленно. — Деньги, месть, страсть, страх. А этот — по долгу. По родовому долгу полувековой давности. — Он захлопнул блокнот. — Знаешь, Василиса, а ведь это то же самое. Мотив есть мотив. Просто у него мотив — старая вина. И моя работа не меняется: найти, кому и за что он мстит. Только вместо того чтоб сажать,

я его буду хоронить. — Он усмехнулся невесело. — Всё та же работа. Всё тот же вопрос: кому была выгодна смерть? Только выгоду тут получил мёртвый. А заплатили живые.

Корнеев ещё раз обвёл фонарём кабину — медленно, методично, как осматривал сотни мест за двадцать лет. Привычка была сильнее страха: глаз сам собой искал улики, несостыковки, следы. Стекло запотело изнутри — значит, в кабине было тепло, когда человек ещё дышал, а потом резко остыло. Дверца открылась легко — не заперто. Значит, кто-то вошёл снаружи — или Пашка сам открыл, впуская. Но следов на гусенице не было — никто не влезал и не слезал. Как будто гость вошёл, не касаясь земли.

— Ни борьбы, ни защиты, — сказал Корнеев вслух, по-следовательно, проговаривая, чтоб уложить в голове. — Когтей на руле не обломано, руки не в крови, лицо не разбито. Он не отбивался. Он даже не успел испугаться по-настоящему — то ли оцепенел, то ли его держало. Как кролика перед удавом. — Он выпрямился. — Я такое видел. Жертва, которая не сопротивлялась, — это либо знакомый убийца, которому доверяли, либо такой ужас, что тело отказывает. Здесь — второе.

— Здесь и то, и другое, — тихо сказала Василиса. — Заложный держит взглядом. Засмотришься в его глаза — и не шевельнёшься. Как птица перед змеей. Пашка ему в глаза глянул — и всё. Замер. А он уже брал. — Она поёжилась. — Не смотри ему в глаза, Дима. Никогда. Когда выйдет — смотри на руки, на грудь, куда угодно, но не в глаза. В глазах у него — омут. Затянет.

Корнеев записал и это. Он записывал всё — и улики, и мистику, одним тем же ровным следовательским почерком, потому что для него теперь и то, и другое было фактами.

Они спустились со стройки к бытовке, где ждал Тишин, серый от страха. Мотор экскаватора остался тарыхтеть за спиной — солярки в баке было ещё на несколько часов.

— Заглушите машину утром, — сказал Корнеев Тишину. — Днём. Сейчас туда не ходите. Тело вывезем на рассвете, при свете, всем миром, и увезём в район, в морг. Ночью — никто. Ни один человек. Соберите село, скажите: до утра из домов ни ногой. Двери запереть, соль на порог, что там ещё они делают. Пусть делают. Хуже не будет.

Тело вывозили на рассвете, как и велел Корнеев, — при свете, при людях. Он нарочно собрал мужиков — не одного Тишина, а человек пять, потому что знал: страшное делается легче сообща, при свете, когда не один. Мужики шли к экскаватору хмурые, крестясь, с полынью за пазухой. Мотор заглушили — и в наступившей тишине стало ещё страшнее, чем под его тарыхтенье.

Пашку вынимали из кабины втроём, осторожно, и он был лёгкий — страшно лёгкий, как высохший, как пустой внутри, потому что крови в нём не осталось ни капли. Один из мужиков, почувствовав эту лёгкость, отшатнулся и перекрестился.

— Лёгкий-то какой, — пробормотал он. — Будто дитя. Как будто всю тяжесть из него выпили.

— Выпили, — тихо сказала Василиса, но так, что мужики услышали и побледнели. — Всю до капли.

Тело увезли в район. Оттуда районный эксперт, как и в прошлые разы, прислал одну строчку: острая кровопотеря, источник не установлен. Корнеев прочёл эту строчку и горько усмехнулся: источник не установлен. Так пишут, когда источник таков, что его в протокол не впишешь.

— А будет — лучше? — тихо спросил Тишин.

Корнеев посмотрел на молодого участкового — на его страх, на его надежду, на его совсем ещё детские, воспалённые бессонницей глаза.

— Будет, — сказал он. — Не сразу. Но будет. Я за этим и приехал. — Он положил парню руку на плечо. — А теперь везите нас в дом. Мне надо, чтобы Василиса Андреевна отдохнула. И мне надо спать. Завтра длинный день. Завтра, лейтенант, начинается настоящая работа. Не с мёртвыми. С живыми. Живые всегда труднее.

Глава 4. Село, которое молчит

Приезжий дом стоял на краю села, у самой реки, — новенький, из бруса, нелепый среди почерневших изб, с пластиковыми окнами и электрическим котлом. Инженеры со стройки жили в нём, пока не начались смерти, а потом съехали в райцентр, за реку, за версты от Гнилой Гати, и ездили на работу вахтой, ночевать в село ни за какие деньги не оставаясь.

Корнеев отметил про себя: даже строители, даже пришлые, не верящие ни во что люди с касками и графиками — и те бежали. Значит, дошло и до них. Значит, село не преувеличивает.

Тишин натопил котёл, принёс из машины их вещи, показал, где что, и всё порывался остаться — то ли караулить, то ли сам боясь ехать один по тёмному селу. Корнеев его отпустил, велел быть с утра, и запер за ним дверь. Проверил окна. Насыпал соли на подоконники и порог — не потому, что до конца верил, а потому, что видел, как это делает Василиса, и научился не пренебрегать старой наукой. Василиса меж тем обошла дом по кругу, трогая стены, прислушиваясь, и наконец кивнула:

— Тут можно спать. Он в дом не войдёт — дом новый, чужой, порога он не знает, а без приглашения заложный через порог не переступит. Это его закон. Пока мы сами не позовём — не войдёт.

— А если позовём? — спросил Корнеев.

— А ты не зови, — сказала Василиса просто. — Никогда. Что бы он ни говорил, как бы ни просил. Он умеет просить, Дима. Он придёт голосом близкого — умершей матери, ребёнка, друга. Заплачет под окном, попросится, скажет: холодно мне, пусти. Не пускай. Голос — не человек. Голос он украл. За голосом — мёртвое и голодное. Запомни это крепко. — Она посмотрела на него серьёзно. — И ещё. Если ночью услышишь стук — не отзывайся по имени. Он спросит: Дима, ты? Не отвечай да. Пока ты не сказал да, он не знает точно, дома ли ты. Молчи. Или скажи: нет тут никакого Димы. Понял?

— Понял, — сказал Корнеев. От этих простых, будничных её наставлений — как от инструктажа перед опасной операцией — по спине шёл холод. Но он записал их в память намертво, как записывал когда-то правила обращения со взрывчаткой.

Ночь прошла тихо. Почти.

Под утро, в самый глухой час, Корнеев проснулся оттого, что второй пульс под сердцем сбился. Он лежал, слушал. Василиса рядом дышала ровно, но напряжённо — не спала, тоже слушала. За окном, за соляной чертой на подоконнике, стояла тишина. А потом в этой тишине, у самого стекла, тихо-тихо, почти нежно, кто-то поскрёбся. И детский голос — тонкий, жалобный, до жути настоящий — прошептал:

— Мама. Мамочка. Открой. Мне холодно.

Василиса не шевельнулась. Только рука её нашла в темноте руку Корнеева и сжала — крепко, до боли. Они лежали, не дыша. За окном скреблись и звали ещё — голосом ребёнка, потом голосом старухи, потом мужским, хриплым, — то плача, то уговаривая, то вдруг замолкая надолго, будто прислушиваясь: клюнут или нет. Соль на подоконнике едва слышно потрескивала, будто в неё капала кислота.

Не дождавшись, гость ушёл. Пульс под сердцем выровнялся. За окном посерело.

— Он нас нашёл, — сказала Василиса в темноте. — Учужал двух Хранителей. И третью кровь. — Она положила руку на живот. — Он теперь будет приходить. Мы для него лакомство, Дима. Живая кровь Хранителей — это ему как... как мёд после воды. Он будет ходить и пробовать. И надо кончать с ним быстро. Пока он не придумал, как перешагнуть порог.

— А он придумает?

— Они всегда придумывают, — сказала Василиса. — Дай им время. Заложный тупой, но терпеливый. И голод делает хитрым. Быстро, Дима. Надо быстро.

Утром они начали.

Корнеев делал то, что делал всегда и везде: читал село ногами. Оставив Василису в доме с материнской тетрадью и с наказом никуда не ходить одной, он вышел на единственную кривую улицу Гнилой Гати и пошёл по ней медленно, заложив руки за спину, глядя, слушая, впитывая.

Село умирало. Это было видно с первого взгляда — так же, как умирало Жнивье, как умирали все сёла, куда его заносила беда. Половина изб заколочена. Дворы заросли. Молодых нет — одни старики да редкие мужики средних лет, спитые, с потухшими глазами. Магазин один, с выцветшей вывеской. Клуб заброшен, окна выбиты. Церковь без креста — при советах в ней держали склад, потом бросили, и теперь она стояла с провалившейся крышей, а колокольня без креста торчала над селом, как палец.

Но было и другое, чего Корнеев не видел ни в одном селе так явно. Страх. Свежий, острый, животный страх, висевший в воздухе, как туман. Кресты мелом на каждой двери. Полынь над окнами. Соль. И — люди. Люди сидели по домам. Село в разгар дня было пустым, как ночью. Никто не работал в огородах, хотя стояла копка картошки. Никто не гнал скотину — да и скотины почти не осталось, вырезали или увели. Редкие прохожие спешили, прижимаясь к заборам, и, завидев чужого, ныряли в калитки.

Корнеев подошёл к колодцу — старому, с журавлём, посреди улицы. У сруба стояла старуха, черпала воду, и, увидев его, замерла.

— Доброе утро, — сказал он. — Я следователь. По смертям. Можно спросить?

Старуха посмотрела на него долгим, тяжёлым взглядом. Лицо у неё было как печёное яблоко, тёмное, в глубоких морщинах, а глаза — острые, живые, всё понимающие.

— Спрашивай, — сказала она. — Только толку. Мы тут все знаем, что спрашивать без толку.

— Почему без толку?

— Потому что помочь ты не можешь, а разбередить можешь. — Она поставила ведро. — Ты приехал ловить убийцу, мил человек. А убийца тут нету. Тут долг пришёл. Старый. Наш. И платить его нам, а не тебе. Ты чужой. Тебя это не касается. Уезжал бы.

— Меня касается, — сказал Корнеев ровно. — Четыре человека мертвы. Скоро будет пятый. Я не уеду, пока это не кончится. А кончится оно только когда я пойму, что тут случилось. И полвека назад, и сейчас. Так что помогите мне. Расскажите про мыс. Про погост. Про то, что там зарыто.

Он сказал это спокойно, буднично — и увидел, как старуху дёрнуло. Как она отшатнулась, будто он ударил. Как метнулись её глаза — по сторонам, по окнам, по молчащим избам.

— Тише, — прошипела она. — Тише ты. Не тут. Не на улице. — Она схватила ведро, расплескала воду. — Не знаю я ничего. Никто не знает. Иди с богом. И не поминай мыс вслух. Накличешь. — Она заковыляла прочь, оглядываясь, крестясь.

Корнеев записал в блокнот: На мысу что-то зарыто. Название/имя вслух не произносят — «накличешь». Все знают. Все молчат. Как в Жнивье. И приписал: Молчание — не незнание. Молчание — это вина.

У следующего двора его окликнули. На лавочке под облетевшей рябиной сидел старик — сухой, желтолицый, с трясущимися руками, но с живыми, цепкими глазами. Рядом стояла палка, а на коленях лежала кошка, которую он гладил механически, не глядя.

— Садись, следователь, — сказал старик, не здороваясь. — Тебя издалека видать. Городской, при папке, ходишь и в дома стучишься. Дознаёшься. — Он усмехнулся, обнажив пустые дёсны. — Дознавайся. Только к живым не ходи. К живым без толку. Живые тут все повязаны молчанием, как рыба сетью. Ты к мёртвым иди. Мёртвые честнее.

— К каким мёртвым? — спросил Корнеев, садясь.

— А сам знаешь к каким, — сказал старик. — К тем, что на мысу. К тому, кого стройка выкопала. — Он понизил голос, оглянувшись на глухие окна соседних изб. — Я тебе скажу, чего

другие не скажут. Я старый, мне бояться поздно, мне помирать скоро, а перед смертью врать грех. — Он наклонился ближе, и от него пахло лекарствами и старостью. — На том мысу лежит человек. Не безымянный, как прочие, а с именем. Только имя это тут вслух не говорят пятьдесят лет. Убили его. Свои же убили. И зарыли, чтоб решили — сбежал. А он не сбежал. Он там. И теперь встал. И берёт — по одному, из тех семей, что его в землю положили.

Корнеев слушал, не шевелясь, боясь спугнуть. Впервые за утро кто-то говорил прямо.

— А вы откуда знаете? — спросил он тихо.

— Я тогда мальчонкой был, — сказал старик. — Видел кое-что. И слышал — как отцы наши по пьяни, ночами, каялись друг дружке, думая, что дети спят. А дети не спали. Дети всё слышали. — Он погладил кошку. — Только имени я тебе не скажу, следовательно. И не проси. Имя вслух назвать — его позвать. А он и так близко ходит. Я имя знаю — и молчу. Пятьдесят лет молчу. И умру молча. — Он посмотрел на Корнеева слезящимися глазами. — А ты ищи. Есть в селе одна, что скажет. Старая Аглая, на отшибе, у мыса живёт. Она не боится. Она к нему ходит. Она одна и держала все эти годы — чтоб лежал тихо. К ней иди. Мне же дай помереть спокойно. Я и так тебе больше сказал, чем себе позволял пятьдесят лет.

Он замолчал, отвернулся, и Корнеев понял, что больше не вытянет ни слова. Но и сказанного было довольно. Он записал: Старик у рябины — подтверждает: на мысу человек с именем, убит своими, зарыт под «сбежал», встал, берёт по семьям. Имя знает, не говорит — «позвать». Отсылает к старухе Аглае у мыса — «держала все годы». И подчеркнул имя Аглаи.

Он обошёл в то утро полсела. Стучал в двери — открывали редко. Кто открывал, говорил одинаково: долг, мыс, уезжайте, не знаю, не помню. Никто не верил в живого убийцу. Никто не искал живого виноватого. Все знали — виноватый не живой. Все знали, кто он. И никто не называл имени.

Была ещё одна — молодая женщина, лет тридцати, едва ли не единственная молодая на всё село. Она вышла к калитке сама, окликнула его шёпотом, оглядываясь, — на руках у неё сидел годовалый ребёнок, и лицо у неё было белое от бессонницы и страха.

— Следовательно, — сказала она быстро, тихо. — Вы ведь можете это остановить? Правда можете? Мне всё равно, как. Мой свёкор говорит — молчи, не лезь, так надо. А я не могу молчать, у меня дитя. — Она прижала ребёнка крепче. — Я ведь тоже из тех, коренных. Муж мой Плюхин, дед Сазон ему двоюродный. Значит, и мы в этом кругу? Значит, и моё дитя? — Голос её сорвался. — Скажите прямо: моё дитя в опасности?

Корнеев посмотрел на неё, на ребёнка, и не стал врать — он вообще редко врал, а таким не врал никогда.

— Не солгу, — сказал он. — Опасность есть. Пока долг не закрыт, он на всём вашем роду. Но, — он выдержал её взгляд, — младенцев заложный не берёт первыми. Он идёт по старшинству вины — кто ближе к той подписи, того раньше. Дитя ваше — последнее в очереди, его вина самая дальняя. Значит, у нас есть время. Если успеем закрыть долг — дитя ваше в полной безопасности. А чтоб успеть, мне нужна правда. Вы — молодая, вам меньше страшно. Скажите, что знаете.

Молодая женщина закивала, торопливо, благодарно, что её наконец слушают.

— Мало знаю, — зашептала она. — Свёкор как-то по пьяни обронил: был, говорит, честный председатель, да мы его свели. Свели — так и сказал. А кто был, за что — не сказал, замолчал, как протрезвел, и мне велел забыть. А ещё сказал: как мёртвые на мысу пойдут — значит, пора платить. Слово в слово так: пора платить. — Она задрожала. — Я тогда не поняла. А теперь люди мрут — и поняла.

Корнеев записал и это. Председатель. Честный. «Свели». С каждым допросом картина становилась яснее, хоть никто не называл ни имени, ни года. Он поблагодарил её, велел сыпать соль и не отзываться на ночные голоса, и особенно — не выносить дитя за порог после темноты.

Одно Корнеев вынес твёрдо: у села была общая тайна. Старая, полувековая, вросшая в брёвна и в землю. И эта тайна как-то связывала четырёх мертвецов между собой. Доярка, дед, турист, экскаваторщик. Что общего? Экскаваторщик рыл — понятно. А трое?

Он вернулся к дому за полдень, с тяжёлой головой и полным блокнотом вопросов без ответов, и застал у крыльца незнакомую машину — чёрный внедорожник, дорогой, чужой в этом умирающем селе, как рояль в хлеву. А на крыльце, разговаривая с вышедшей Василисой, стоял человек.

Крепкий, лет сорока пяти, в добротной куртке, в чистых берцах поверх дорогих джинсов. Лицо начальственное, красноватое, привыкшее командовать. Он что-то втолковывал Василисе — напористо, с той особой хамоватой уверенностью, с какой люди при деньгах и власти говорят с теми, кого считают ниже.

— ...так вот и передайте вашему следователю, — донеслось до Корнеева, — что стройку я не останавливаю. Ни на день. У меня график, у меня контракт, у меня неустойка миллион в сутки. И если он думает своими попами да травами...

— Я не пью трав по будням, — сказал Корнеев, подходя. — А по выходным — только чай с мятой. Вы кто?

Человек обернулся. Смерил Корнеева взглядом — быстрым, оценивающим, как оценивают противника.

— Стоянов, — сказал он. — Виктор Стоянов. Начальник участка, «Запад-Магистраль». Это моя стройка. — Он выделил слово моя. — А вы, стало быть, тот самый следователь, которого мне из района прислали на голову. Который велел моего экскаваторщика не трогать до утра и мотор гонять всю ночь впустую. Знаете, во сколько мне встала эта солярка?

— А во сколько вам встал экскаваторщик? — спросил Корнеев тихо. — Живой человек. Долгих Павел. Тридцать лет. Четвёртый ваш работник за девять дней. Это вы во сколько считаете?

Стоянов на миг осёкся. Потом лицо его снова затвердело.

— Несчастные случаи, — сказал он. — Отравление, переутомление, что там ещё эксперт напишет. Люди мрут — работа тяжёлая, вахта, пьют. При чём тут стройка? — Но он отвёл глаза, и Корнеев поймал это движение — старое, знакомое движение человека, который знает больше, чем говорит, и боится того, что знает. — Слушайте. Я деловой человек. Мне ваши деревенские страшилки до лампочки. Мыс, кости, покойники — это всё грунт, и точка. Я тяну дамбу и дорогу, федеральная программа, деньги освоены, назад дороги нет. Не путайтесь у меня под ногами — и разойдёмся мирно.

— Кости, — сказал Корнеев. — Вы сказали — кости. Значит, кости были. На мысу. Много?

Стоянов понял, что проговорился. Побагровел.

— Не было никаких костей, — отрезал он. — Грунт был. Я вам ничего не говорил. — Он шагнул к машине. — И вот что, следователь. Полковник Ведерников — мой хороший знакомый. Очень хороший. Так что не советую мне мешать. Себе дороже. — Он сел в машину, хлопнул дверцей, газанул, окатив крыльцо грязью, и уехал.

Корнеев смотрел вслед чёрному внедорожнику, и в голове его складывался портрет Стоянова — точный, профессиональный, как складывался когда-то портрет подозреваемого. Пришлый хозяин, гонящий график. Человек цифр, для которого кости — грунт, а мёртвые — помеха на пути насыпи. Такой не убивал — такой тревожил. Брал больше положенного и будил то, что лучше бы спало. Как турбаза на болоте. Как лесозаготовители в тайге. Как девелопер на озере. Как холдинг в Жнивье. Везде одно и то же: человек берёт, не спросясь, и будит старое, спящее зло.

— Кости были, — сказал он. — Много. Он их видел. И приказал скрыть. — Он повернулся к Василисе. — Он не убийца. Но он тронул могилу и знает это. И теперь боится — не

упыря даже, а огласки. Экспертизы, археологов, остановки стройки. Он будет мешать нам изо всех сил. И у него в кармане куратор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.